
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

Алексей Климов

ИВАН ДЕНИСОВИЧ И КРЕСТЬЯНСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

I

Солженицын довольно много рассказал нам о тех обстоятельствах, в которых задумывался «Один день Ивана Денисовича». Из пояснений к его тексту в Собрании сочинений мы узнаём, что мысль о написании произведения такого типа появилась у автора зимой 1950/51 года^{*)}, в то время, когда он был заключённым-разнорабочим советского Особого лагеря в Казахстане¹. В интервью Би-Би-Си, приуроченном к двадцатилетнему юбилею публикации «Одного дня...» в 1982 году, Солженицын описывает этот момент подробнее:

«Я в 50-м году, в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и подумал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути, достаточно описать один всего день в подробностях, в мельчайших подробностях, притом день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И даже не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это был какой-то особенный день, а — рядовой, вот тот самый день, из которого складываются годы. Задумал я так, и этот замысел остался у меня в уме, девять лет я к нему не прикасался и только в 1959, через девять лет, сел и написал»².

Девять лет, о которых говорит Солженицын, были заполнены важными в его жизни событиями: освобождением из лагеря (1953), преодолением едва не ставшей смертельной болезни (1954), переездом после трёх лет ссылки в маленьком среднеазиатском ауле в европейскую часть России (1956) и последовавшей в 1957 году официальной «реабилитацией»,

^{*)} Писатель сам вносит неопределённость относительно этой даты. В заявлении, сделанном в 1976 году (Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве (март 1976) // *Публицистика*. Т. 2. С. 424), он упоминает об этом моменте как о случившемся в 1952 году, в то время как в интервью Би-Би-Си (см. примеч. 2 на с. 533 наст. изд.), он относит его к 1950-му. Следует полагать, что дата, указанная в Собрании сочинений, может считаться более достоверной).

снявшей все обвинения, по которым он был арестован в 1945-м за критические оценки Сталина.

Весной 1958 года, когда Солженицын преподавал физику и астрономию в средней школе в Рязани, каждую минуту свободного времени он посвящал своему подпольному творчеству, работая над романом «В круге первом». Тогда же он стал серьёзно обдумывать создание истории советской системы тюрем и лагерей и набросал в общих чертах предварительную схему того, что стало позже «Архипелагом ГУЛАГ». Написав начерно несколько глав этой работы, Солженицын пришёл к выводу, что из-за недостаточности собранного материала, которым он в то время располагал, её следует отложить³. Отметим, что отложенный тогда проект явился уже четвёртой работой Солженицына на тему советского механизма репрессий. Иными словами, «Один день Ивана Денисовича», написанный в следующем году, следует считать частью развивающейся темы⁴).

Непосредственным импульсом к созданию рассказа явилась попытка Солженицына весной 1959 года изобразить жизнь школьного учителя путём воспроизведения одного его дня⁵). Это начинание, по-видимому, не осуществилось, и вместо него писатель взялся за произведение со столь же ограниченными временными рамками, задуманное в лагере много лет назад. Как он сформулировал это в своём выше цитированном интервью Би-Би-Си: «...только в 1959, через девять лет, сел и написал». В другом случае он эти сведения дополняет: «Сел — и как полилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только чтоб чего-нибудь не пропустить»⁶.

Работа продвигалась быстро и заняла всего сорок дней⁷). Первоначально Солженицын дал рассказу название «Щ-854 (Один день одного зэка)», где буква и цифра обозначают лагерный номер заключённого. Центральную фигуру своего произведения писатель описывал так: «Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с авто-

³) Первое из произведений Солженицына, в котором речь идёт о лицах, арестованных по политическим мотивам, — это пьеса «Пленники» (1953). За ней следует пьеса «Республика труда» (1954), действие которой происходит в лагере. Следующий в хронологическом ряду — роман «В круге первом», существующий в нескольких редакциях, начиная с 1957 года. Место действия романа — тюремный исследовательский институт. К тому же ряду можно причислить и раннюю пьесу «Пир победителей» (1951), её сюжет вращается вокруг фигуры агента Смерша, рыщущего в поисках очередной жертвы.

⁴) Хотя к воспоминаниям первой жены Солженицына следует относиться с осторожностью, причин сомневаться в достоверности этой подробности, по-видимому, нет^{CLXXXIII}.

⁵) Решетовская пишет, что начало и окончание работы приходится на 18 мая и 11 октября 1959 года, летние месяцы между этими числами были отведены другим занятиям (см.: *Reshetovskaya N.A. Sanya...* P. 212; рос. изд.: *Решетовская Н.* В споре со временем. [М.:] АПН, 1975. С. 154–155)^{CLXXXIV}.

ром в советско-германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и личного опыта автора в Особом лагере каменщиком»⁷.

Реальный Шухов служил в артиллерийской звуковой разведке под командованием Солженицына. Как указывал писатель, он не находился в особо дружеских отношениях с этим простым солдатом⁸. Тем более интересен его рассказ о таинственном творческом процессе, в результате которого черты человека, знакомого ему лишь поверхностно, отошли к главному герою «Одного дня...».

«...Когда я пришёл к мысли написать день одного зэка, ясно было, что это должен быть наиболее такой рядовой член армии ГУЛАГа. ...Кого же брать? Много бывало заключённых вокруг меня, я мог вспомнить многие десятки людей, которых я хорошо очень знал, и сотни. Вдруг, почему-то, стал тип Ивана Денисовича складываться неожиданным образом. Начиная с фамилии — Шухов, — влезла в меня без всякого выбора, я не выбирал её, а это была фамилия одного моего солдата в батарее, во время войны. Потом вместе с этой фамилией его лицо, и немножко его реальности, из какой он местности, каким языком он говорил. Вдруг, почему-то, вот этот рядовой солдат батареи советско-германской войны вдруг стал идти в повесть, хотя он не был заключённым. <...>

И вдруг он сюда полез сам...»⁹

Эта фигура затем приобрела дополнительные биографические подробности и личностные черты, перенесённые Солженицыным на него от солагерников; автор также наделил её своими собственными чувствами и представлениями. Другие персонажи «Одного дня...», менее «составны» по своей природе и непосредственнее связаны со своими прототипами. Все они, как сообщается в пояснениях, взяты «из лагерной жизни, с их подлинными биографиями»¹⁰. В самом деле, из различных источников нам известно, что образ капитана Буйновского во многом срисован с солагерника Солженицына Бориса Бурковского, что Тюрин, крепкий бригадир Шухова, наделен опытом Николая Х-ва, о котором автор пишет в «Архипелаге ГУЛАГ», а Цезарь Маркович смоделирован по образу и подобию кинорежиссёра Льва Гроссмана; Алёшка-баптист и Сенька Клевшин оба тоже могут быть соотнесены с реально существовавшими лицами¹¹.

Использование реальных прототипов — приём, широко применявшийся в русской литературе XIX столетия. В противоположность западной традиции проведения резкого разграничения между вымыслом и действительностью, великие русские прозаики гордились тем, что их произведения отражают исторические, социальные и моральные проблемы и реалии их родины. В России литература оценивалась не мерой способности писателя создавать при помощи своего мощного воображения живой и

красочный мир *ex nihilo*^{*}, а скорее его таланта к отбору, переименованию и упорядочению элементов действительности, приводящим к пересозданию её в художественно совершенной форме¹².

Солженицын открыто заявлял о своей приверженности этой традиции. Когда интервьюер заметил, что читатели воспринимают «Один день...» в основном как автобиографическое произведение, он ответил следующими словами: «Ничего не поделать, я действительно не вижу перед собой задачи выше, чем служить реальности, то есть воссоздавать растоптанную, уничтоженную, оболганную у нас реальность, а вымысел я не считаю своей задачей или целью. Я вовсе не хочу никогда блеснуть вымыслом, но просто вымысел есть для художника средство концентрации действительности»¹³.

Намерения автора изложены здесь с абсолютной ясностью: «Один день Ивана Денисовича» — это произведение, преследующее в равной степени познавательную, этическую и эстетическую цели и достигающее их способом, совершенно свободным от сознательных усилий, направленных на достижение художественного совершенства. В самом деле, здесь уместно было бы вспомнить, что жанр «Архипелага ГУЛАГ», своей монументальной работой о системе советских тюрем и лагерей, Солженицын определил как «опыт художественного исследования», — смело объявив тем самым искусство литературы методом поиска познавательной цели. И хотя «Один день...» очевидно гораздо более скромно по своим масштабам, основной подход в нём очень схож с уже упомянутым и построен всецело на основе воссоздания средствами памяти полнокровного художественного образа столь долго скрываемой от общества действительности¹⁴.

«Один день...» весь переполнен информацией о жестоком мире советских лагерей подневольного труда, который от обычного человеческого опыта большинства современных читателей столь далёк, что требует некоторого исторического комментария.

Временные рамки известны точно. Действие рассказа происходит в начале 1951 года¹⁵; Сталин, называемый «батькой усатым» (с. 101), ещё у власти; в Корее идёт война (с. 100). Место действия — так называемый Особый лагерь, расположенный где-то в Средней Азии. Хотя различные типы концентрационных лагерей существовали с самого начала советской власти, Особые лагеря были учреждены Сталиным только в 1948 году с целью отделения политических заключённых от якобы гораздо менее опасных обычных уголовников¹⁶. В Особых лагерях вводились так настойчиво упоминающиеся в тексте нашивки с номерами и ещё некоторые пра-

^{*} *Ex nihilo* — из ничего (*лат.*).

вила, в число которых входили жёсткое ограничение числа писем, которые разрешалось писать (по два в год (с. 35)), и отсутствие даже символического вознаграждения за принудительный труд, полагавшегося в большей части «обычных» лагерей (с. 99).

Однако заключение в Особых лагерях имело одно парадоксальное преимущество. Поскольку все заключённые, содержащиеся в них, автоматически считались классовыми врагами — в отличие от обычных преступников, к которым режим относился как к «социально-близким»^{*)} 17, — лагерное начальство, по-видимому, не прилагало особых усилий для искоренения «антисоветских» разговоров, которые в лагерях других типов приводили к применению самых жестоких мер (с. 101). Хотя лагерный офицер безопасности по-прежнему полагался на осведомителей среди заключённых — в бригаде Шухова «стукачом» считался человек по фамилии Пантелеев (с. 29), — тем не менее, как мы узнаём из рассказа, в этом же лагере были убиты несколько доносчиков и заключённые вели между собой достаточно вольные разговоры (с. 53, 71). Мы становимся свидетелями того, как Тюрин открыто рассказывает сокамерникам чудовищную историю репрессий, которые режим обрушил на него и его семью (с. 62–65), как другие зэки оскорбительно высказываются о Сталине (с. 101) и как они открыто спорят о войне в Корее (с. 100)**).

В рассказе приводятся некоторые обвинения, из-за которых попали в лагерь многие заключённые; о большинстве других, неупомянутых, нам тоже догадаться нетрудно. Шухов во время войны ненадолго попал в плен к немцам, после чего его немедленно объявили немецким шпионом (с. 51–52); той же самой параноидальной логикой объясняется десятилетний срок, отмеренный попавшему в плен Ермолаеву (с. 96). Сеньку Клевшина и капитана Буйновского осудили за шпионаж всего лишь по причине контакта с иностранцами: Сеньку освободили из немецкого концлагеря американские военные, и он провёл среди них два дня, а капитан некоторое время находился в качестве офицера связи на одном британском военном судне. Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить обоих в шпионаже и дать им по 25 лет (с. 83). В лагере сидит так много псевдошпионов, что единственного настоящего все считают курьёзом (с. 80).

К 1951 году Тюрин отсидел девятнадцать лет только за то, что его считали членом семьи кулака, то есть крестьянина, который выступил — или подозревали, что выступил, — против политики насильственной кол-

^{*)} Этот термин применялся при марксистско-ленинском классовом анализе.

^{**)} Упоминания об убийстве осведомителей были изъяты из рукописи, предложенной Солженицыным «Новому миру»; они были вновь вставлены в последующих изданиях рассказа, вышедших на Западе в 1973-м и 1978 годах [и в дальнейших изданиях — см.: *Рассказы и Крохотки*. С. 53. — *Ред.*].

лективизации в сельском хозяйстве, начатой в 1929 году и проводившейся в начале 1930-х с невообразимой жестокостью. Алёшку и других баптистов посадили на двадцать пять лет за одну их веру (с. 38).

Однако среди осуждённых есть разные. Так, например, Павло, помощник начальника сто четвёртой бригады, был членом радикальной украинской националистической организации, возглавляемой Степаном Бандерой; в течение нескольких лет после Второй мировой войны бандеровцы проводили партизанские вылазки против советских военных частей на Украине (с. 65). В этом отношении Павло и ещё несколько бандеровцев (с. 21) вместе с так и не названным по имени настоящим шпионом образуют крошечную группу заключённых, осуждённых за настоящие враждебные действия против советского режима. Но никакой разницы между настоящими и воображаемыми врагами режим не проводил, и гротескная непропорциональность его карательной системы подчёркивается тем фактом, что украинский подросток Гопчик был приговорён к тому же самому двадцатипятилетнему сроку, что и настоящие боевики, в то время как на самом деле мальчишка только приносил им в их лесное убежище молоко (с. 48).

Ещё одна выделяющаяся среди других группа заключённых, обвинения против которых не упоминаются, но подразумеваются из контекста, — это эстонцы и латыши, десятки тысяч которых были арестованы при акциях подавления «буржуазного национализма», направленных против лиц, связанных с досоветскими прибалтийскими режимами, или просто против людей, подозревавшихся в тайных надеждах на восстановление национальной независимости^{*)}. Кинорежиссёр Цезарь Маркович был, по всей видимости, жертвой преследований «безродных космополитов» (клишированное определение русско-еврейской интеллигенции), чистки её проводились в Советском Союзе в конце 1940-х и начале 1950-х годов. Нам даётся также короткая, но запоминающаяся зарисовка заключённого под номером Ю-81, человека с несломленным духом, о котором только известно, «что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно, сколько советская власть стоит» (с. 98–99), — возможно, его посадили в лагерь только из-за нежелания скрывать презрение к режиму и его системе.

Выведа в своем рассказе галерею заключённых самых несходных типов, в подавляющем большинстве своём приговорённых к суровым срокам за несуществующие преступления, и наделив их историями жизни, составленными на основе биографий реальных людей, Солженицын нарисовал впечатляющую картину, которая шокировала описаниями моно-

^{*)} Исключением среди них был эстонский солагерник Шухова, которого арестовали как иностранного шпиона, когда он, наивно поверив советским обещаниям, вернулся из Швеции в Эстонию (с. 41).

литной несправедливости, но в то же время отражала действительность, до того огромным числом советских читателей на сознательном уровне не воспринимавшуюся. В 1962 году СССР был страной, десятки миллионов граждан которой либо сами сидели в лагерях, либо имели родственников или друзей, туда попавших (и, возможно, оттуда не вернувшихся). Тем не менее о существовании этих учреждений в произведениях, предназначенных для публикации или сцены, или не упоминалось, или упоминалось только самым косвенным или лживым образом. Обратившись к табуированной теме прямо и при этом ещё воплотив её средствами богатого и подчас приземлённого языка, находившегося в головокружительном контрасте со стандартными лингвистическими нормами того дня, «Один день...» не мог не вызвать со стороны читателей поистине обвальную реакцию. Без преувеличения можно сказать, что своим неопровержимым утверждением реалий действительной жизни «Один день...» послужил для общества некой «социальной терапией» (по выражению Дональда Фангера¹⁸) и в этом смысле освобождал читателей от удушливых ограничений и словесных уловок, характерных для официальной советской литературы в течение десятилетий. Действительно, многочисленные комментаторы, бывшие свидетелями появления в 1962 году «Одного дня...», подтверждают, что глубина общественной реакции на него была просто беспрецедентна и несопоставима с реакцией на любое другое литературное событие до этого или после¹⁹. Свидетельством чувств, которые вызвала в обществе эта публикация, а также высокого мастерства писателя явился уже тот факт, что усложнённая литературная структура рассказа, по-видимому, так и осталась многими неосознанной, ибо они воспринимали его как своего рода свидетельство очевидца. Живой пример такого прочтения приводит российский политический деятель Григорий Явлинский, который вспоминает решительную оценку «Одного дня...» своим отцом как один из памятных моментов своей жизни: «Когда он [отец] пришел, [я] подошёл к нему и спросил: “Что это такое?” Он мне сказал: “Это — правда!”»²⁰

Слова старшего Явлинского, явно сказанные в похвалу, Солженицыну наверняка не понравились бы. Традиция русской литературы, к которой принадлежит он, не одобряет взгляда на литературу как на самодовлеющее или же всего только декоративное действо, никак с поисками истины не соотносённое. Она предполагает, что писатель, свидетель мук и

¹⁸) Хорошо описывает атмосферу следующая подробность. Великий поэт Анна Ахматова, прочитавшая «Один день...» в рукописи, отложила свой отъезд домой в Ленинград потому, что ей захотелось увидеть вещь напечатанной. Она заявила, что не уедет из Москвы, «пока не подержит ноябрьскую книжку “Нового мира” в руках» (см.: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Время, 2007. Т. 2: 1952–1962. С. 579).

несчастий своего общества, не должен растрачивать данный ему Богом талант на праздные выдумки. В то же время писатель должен оставаться верным принципам литературы как искусства и избегать чисто утилитаристских или пропагандистских задач. Идеалом русской литературы считается слияние высокой и серьёзной темы с соответствующей эстетической структурой.

«Один день Ивана Денисовича» служит подтверждением, что эта цель достижима. Как указывает писатель в выше уже цитированных утверждениях, его желание описать мир лагеря с самого начала столкнулось с проблемой поиска подходящей повествовательной формы. Он решил взять за основу подробный рассказ о событиях одного-единственного дня. Что ещё более важно, он захотел представить лагерный опыт в основном, хотя и не полностью, пропустив его через сознание и язык необразованного заключённого-крестьянина, но в то же время форму изложения от третьего лица сохранить. Такой род повествования передаётся немецким литературным термином *erlebte Rede*, Доррит Кон даёт ему английский эквивалент *narrated monologue*^{*} и предлагает его следующее описательное определение: «передача мысли героя посредством его идиоматической речи при сохранении субъектности повествования от третьего лица и основного грамматического времени»^{*)}²¹. Такой метод разделяет с повествованием от первого лица способность передачи подчёркнуто субъективного взгляда на мир в непосредственной манере с автоматически следующей из него самохарактеристикой, но в то же время делает решительный шаг к передаче субъективной точки зрения в грамматической форме, обычно ассоциирующейся с объективным повествованием. В теории это позволяет писателю легко перемещаться между индивидуальной перспективой какого-нибудь персонажа и более бесстрастным языком основного повествователя, каждый раз о таком перемещении формально не объявляя. Хотя в «Одном дне Ивана Денисовича» выявление такого основного повествователя, никак не связанного с Иваном Шуховым, всё же проблематично, поскольку нейтральные описательные отрывки передаются теми же самыми лексическими средствами, что и субъективные утверждения, недвусмысленно связанные с Шуховым. Это можно показать на материале почти каждой страницы текста.

«Взял [Шухов] с собой для лёду топорик и метёлку, а для кладки — молоточек каменотёсный, рейку, шнурок, отвес.

^{*} *Narrated monologue* — букв.: пересказанный монолог (англ.).

^{*)} Другие критики предлагали иную терминологию: *indirect interior monologue* (букв. «косвенный внутренний монолог») и *represented discourse* (букв. «описанный дискурс»). Русский эквивалент немецкого *erlebte Rede* звучит как *несобственно-прямая речь* или *косвенно-прямая речь*.

Кильдигс румяный посмотрел на Шухова, скривился — мол, чего поперёк бригадира выпрыгнул? Да ведь Кильдигсу не думать, из чего бригаду кормить: ему, лысому, хоть на двести грамм хлеба и помене — он с посылками проживёт» (с. 65).

Хотя первое предложение в этом отрывке по сути описательное и не отличается оценочным тоном непосредственно следующих за ним фраз, оно содержит бросающуюся в глаза грамматическую неправильность (*для лёду* вместо *для льда*) и лексическую инверсию (*молоточек каменотёсный*), характерные для народного говора. И хотя на основе таких отрывков можно все-таки утверждать, что открыто субъективное повествование Шухова (как в «ему, лысому», и т. д.) перемежается с голосом отличного от него, более нейтрального повествователя, язык которого всё же разделяет характерные лингвистические черты языка Шухова, проведение различий между этими голосами ничего не добавляет к тексту как к целому²². Самая главная его черта — «Один день...» является практически непрерывным комментированием лагерного опыта с точки зрения, которую в целом можно определить как крестьянскую. В этом смысле индивидуальный голос Шухова является всего лишь особо выразительной формой господствующей в тексте модальности.

Прежде чем разобрать важность для всего текста этой точки зрения, отметим, что Солженицын выделил отточием три описательных отрывка, которые уходят от всего, что Шухов (или же обобщённый крестьянин-повествователь) мог в лагере видеть или слышать. Соответственно, каждый из этих трёх отрывков выдержан в стандартном, «образованном» литературном стиле, резко отличающемся от идиоматического языка, которым написан рассказ в целом. В первом таком отрывке говорится о санитаре, занятом написанием стихов, работой «для Шухова непостижимой» (с. 26), во втором даётся краткий экскурс в сознание Цезаря в то время, когда тот курит, «чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то» (с. 30), и в третьем позволяет нам заглянуть в психологическое состояние Буйновского в тот момент, когда он начинает превращаться «из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка» (с. 58–59)^{*)}.

Кроме этих трёх случаев, в тексте «Одного дня...» нет никаких формальных обозначений, которые бы выделяли разные повествовательные голоса, и за вербализациями размышлений Шухова следуют без всяких видимых швов высказанные в его присутствии суждения других персонажей, даже когда предмет разговора ему непонятен, как в случае, когда он

^{*)} Писатель вставил также отточие перед рассказом Тюрина (с. 62), но в данном случае оно просто означает, что Шухов не слышал его с самого начала.

молча слушает «образованный разговор» Цезаря с X-123 об Эйзенштейне (с. 60). Типографскими средствами, таким образом, выделены только те части рассказа, в которых Шухов (и представляемое им обобщённое крестьянское мировосприятие) не может считаться ни свидетелем, ни комментатором^{*)}.

В критической литературе, посвящённой интерпретации «Одного дня...», значение крестьянской точки зрения уже рассматривалось не раз. Некоторые из комментаторов утверждают, что, столь сильно опираясь на неё, Солженицын тем самым накладывает на текст нежелательные ограничения, поскольку интеллектуальная узость Шухова не позволяет ему понять, не говоря уже о том, чтобы выразить, внутренний смысл всего, что он в лагере видит²³. Таким критикам можно было бы возразить, что, показывая сталинский лагерь через заведомо зауженный фокус сознания Шухова, писатель сталкивает нас со своим материалом прямо, лишая возможности бегства в интеллектуальные обобщения²⁴. В частности, добавил бы я, такой способ подачи материала исключает прочтение «Одного дня...» как произведения о бессмысленности жизни в целом — в конечном итоге слишком легковесный для конкретных ужасов XX века ответ. Крестьянская натура Шухова его исключает, поскольку в основе её лежит крепкий и трезвый подход к действительности, подтверждающийся в тексте его зоркими наблюдениями и разумными комментариями. Так, например, Шухов признаёт *способность* власти подавлять всякое открытое сопротивление (с. 42) и, поскольку гордому сопротивлению он предпочитает выживание (с. 54), он подчиняется навязанным ему извне правилам. Тем не менее ничего сверх этого Шухов системе, чью жестокость и вопиющую ложь он осознает полностью, не уступает. Лагерь, каким он видит его, — это место организованной злобы и сознательно насаждаемого извращения настоящей жизни, а не непостижимое для человека следствие беспорядочности хаоса^{**) 25}.

Своё здоровое чувство моральной ориентации Шухов проявляет по-разному. Хотя задачей каждого своего дня он ставит выживание, он всё же просит жену не посылать ему передач с едой, потому что понимает: в таком случае семье пришлось бы жертвовать слишком многим (с. 90). В

^{*)} В «Одном дне...» есть ещё один короткий абзац такого рода, относящийся к Буйновскому (начинается со слов «Виноватая улыбка...»). Абзац выделен отточием в оригинальной версии «Нового мира» (Новый мир. 1962. № 11. С. 38), которое опущено в Собрании сочинений (Солженицын А.И. Собр. соч.: [В 20 т.] Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1978. Т. 3. С. 57 [и в 30-томном Собрании сочинений — см.: *Рассказы и Крохотки*. С. 59. — *Ред.*]), предположительно, потому, что непосредственно из него следует пассаж, который может быть приписан Шухову.

^{**)} Подобное чувство реальности свойственно и автору рассказа.

отношениях с солагерниками он неизменно честен, ответственно относится к своей работе и даже в унижительных обстоятельствах лагерной жизни умудряется сохранять человеческое достоинство.

В противоположность ему поведение интеллектуалов из его рабочей бригады, капитана Буйновского и Цезаря Марковича, показывает, что они во многом действительности лагерного мира не понимают. Так, например, заносчивый Буйновский, ставящий себя несопоставимо выше Шухова по развитию (с. 77), ещё не ощутил всем своим существом несправедливость и коррупцию, которые окружают его со всех сторон, и в своем протесте против проводимого утром обыска, похоже, искренне убежден, что «настоящие советские люди» уже по определению должны быть честными и лагерное начальство просто не знает Уголовного кодекса (с. 32). Шухов про себя возражает ему: «Знают. Это ты, брат, ещё не знаешь». Позже Буйновский, по-видимому, с той же наивной искренностью, заявляет, что он лучшего мнения о советских законах (с. 83), вызывая у Шухова только усмешку.

Критическое отношение Шухова к Цезарю Марковичу выражено менее прямо. Цезарю, благодаря посылкам, которыми он подкупает лагерное начальство, удаётся, в отличие от других членов его рабочей бригады, избегать физического труда, и он, по-видимому, наивно не осознает той меры моральной невосприимчивости, которую обнаруживает в своих эстетических рассуждениях. Особенно странно слышать, как он, заключённый сталинского полицейского государства, сидящий в лагере вместе с другими невинными жертвами беспорядочных репрессий, восторгается кинематографическим проходом, в котором Эйзенштейн эстетизирует институт опричнины, частную армию убийц, которую содержал Иван Грозный (с. 60)²⁶. Шухов выступает во время панегирика Эйзенштейну всего лишь в качестве молчаливого и, предположительно, ничего в искусстве не смыслящего слушателя. Тем не менее построение самой этой сцены подчёркивает эгоцентризм Цезаря. Цезарь тянется за миской с кашей, которую не без труда припас для него Шухов, даже не замечая присутствия последнего. Для него «будто каша сама приехала по воздуху» (с. 61)^{*)}.

Кроме Буйновского и Цезаря, единственный другой образованный человек, с которым в течение дня общается Шухов, — фельдшер санчасти Вдовушкин. Бывший студент с мягкими манерами, изучавший ранее литературу, Вдовушкин лишь в малой степени наделён властью, позволяющей ему освобождать больных заключённых от работы. Он показан автором

^{*)} Читатели заметят сходство этой сцены с толстовским изображением поведения Наполеона в Тильзите (Война и мир. Т. 2, ч. 2, гл. 21).

настолько поглощённым своим поэтическим творчеством, что его совет Шухову идти, как обычно, на работу, в общем-то в данных обстоятельствах разумный, тем не менее, содержит явную нотку безразличия. Именно этот нюанс заставляет Шухова рывком подняться с места и выйти за дверь, даже на прощание Вдовушкину не кивнув (с. 26). Мораль эпизода прямо выражена словами, следующими за выходом Шухова из санчасти: «Тёплый зяблого разве когда поймёт?» (с. 26). Краткий и отчётливо нелитературный стиль этой русской фразы афористичен и энергичен и служит особенно живым примером свойственного Шухову чувства реальности и крестьянского менталитета, который он представляет. Он также превосходно объясняет высказывание Твардовского, редактора «Нового мира», сделанное им во время его первой встречи с Солженицыным. «Один день...», как тогда заявил Твардовский, — это новое слово в русской литературе именно потому, что интеллигенция показана в нём глазами народа, а не традиционно, наоборот²⁷.

Солженицын утверждал, что именно эта особенность рассказа сыграла решающую, хотя и неожиданную роль в разрешении на его публикацию. В самом деле, мы знаем, что экземпляр рукописи «Одного дня...» привлёк внимание Твардовского в немалой степени из-за тактически верного, оброненного в его присутствии замечания о том, что это произведение — «лагерь глазами мужика, очень народная вещь»²⁸. Твардовский, как и расторопный Никита Хрущёв, был крестьянского происхождения, и Солженицын считает, что на решение Хрущёва разрешить публикацию «Одного дня...» в ведущем литературном журнале Советского Союза, чего так настойчиво добивался Твардовский, прямо повлияла инстинктивно положительная реакция обоих на крестьянский взгляд на вещи, свойственный Шухову. Как пишет об этом Солженицын: «Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховный мужик Никита Хрущёв»²⁹.

Солженицын потом предположил, что этим же объясняется и тот факт, что в течение нескольких месяцев 1962 года, когда рассказ, ожидая своей публикации в «Новом мире», распространялся в машинописных копиях, он так и не появился на Западе: «...он был слишком крестьянским, слиш-

²⁷ Конечно, Солженицын сознавал, что Хрущёв собирается использовать его рассказ как оружие в борьбе за контроль над партией. Он высказывает эту точку зрения в своём интервью Би-Би-Си (см.: Радиоинтервью к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича» для Би-Би-Си (8 июня 1982) // *Публицистика*. Т. 3. С. 21). Интересно отметить, что в своих мемуарах, которые Хрущёв надиктовал после смещения с должности, бывший первый секретарь этот аспект публикации «Одного дня...» затушёвывает, подчеркивая свои гуманные намерения (см.: *Khrushchev remembers: The glasnost tapes* / Transl. and ed. J.L. Schecter and V.V. Luchkov. Boston: Little, Brown & Co., 1990. P. 196–199).

ком русским, и оттого как бы зашифрован. Западные корреспонденты, может, и читали его в тот год, но не сочли перспективным к западному уху»³⁰.

Тем не менее никакого особого усилия для того, чтобы понять точку зрения Шухова, на наш взгляд, не требуется. Создавая своё произведение, Солженицын очевидно опирался на русскую традицию XIX века, взывавшую к «простому народу» как к носителю моральных ценностей³¹.

Собственное отношение Солженицына к этой традиции амбивалентно. В романе «В круге первом» анализу эволюции взглядов на неё Глеба Нержина, главного героя, отведена целая глава³². Пытаясь уяснить для себя народническую идею, которая в России XIX века стала почти навязчивой, Нержин знакомится с крестьянином, дворником Спиридоном, и пытается понять мотивацию его поведения. Как и ожидалось, он приходит к выводу, что Спиридон — отнюдь не фонтан мудрости, способный служить руководством к познанию сложного современного мира. Тем не менее в стойкой преданности дворника своей семье и в его поведенческой доморощенной морали многое Нержин находит достойным восхищения.

Гораздо более значительная вариация на эту же тему представлена в рассказе «Матрёнин двор», который Солженицын начал писать во время паузы в работе над «Одним днём...». Заглавная героиня — пожилая женщина-крестьянка, достоинства которой настолько скрыты убожеством её непосредственного окружения, что становятся ясными только после её смерти. Сама неординарность Матрёны, обираемой бессовестными и жадными родственниками и презираемой односельчанами за непрактичную бескорыстность, выразительно указывает на характер господствующей в деревне морали. Постоянно унижаемая и непризнанная при жизни, Матрёна воспринимается в конце рассказа как идеал, или, словами русской пословицы, как «праведник», без которого «не стоит село». Солженицын видит в ней отчётливое воплощение моральной идеи, провозглашаемой русской традицией, поэтому уже сам факт существования Матрёны представлен им как доказательство выживания ценностей, присущих этому идеалу, среди деградации советской жизни.

Созданный в хронологическом интервале между романом «В круге первом» и рассказом «Матрёнин двор», «Один день...», естественно, отражает часть затрагиваемых в них тем. Во-первых, следует отметить частичную, хотя и неоспоримую, параллель между образами Спиридона и Шухова. Хотя герой «Одного дня...» несравненно шире воспринимает мир, чем подслеповатый дворник Спиридон, он разделяет с тем такие ключевые черты характера, как стойкая приверженность твёрдому, пусть и несколько своеобразному, кодексу поведения и, видимо, полный иммунитет к

любого рода идеологии. Хотя, конечно, Спиридону, как второстепенному персонажу, в романе уделяется лишь ограниченное внимание, и проводимая аналогия носит схематический, а не сущностный характер.

Связь «Одного дня...» с «Матрёниным двором» намного значимее. И она прослеживается, несмотря на тот очевидный факт, что важность, которую Шухов придаёт выживанию, находится в прямом противоречии с инстинктивной бескорыстностью Матрёны, а форма характеристики Матрёны от лица повествователя несопоставима с косвенно-прямым изложением мыслей Шухова в «Одном дне...». Сходность произведений — в их подчёркнутой сосредоточенности на фигурах главных героев, чьи действия и отношения к другим людям отражают определённые моральные качества, сохраняющиеся в русском крестьянском самосознании. Именно на этом уровне в них воплощён основной посыл русской литературной традиции XIX века: предполагается, что описываемое может самым сущностным образом рассматриваться как образец социальной или исторической действительности, а не как творческое самовыражение, не имеющее сколь-либо очевидного отношения к миру обычного опыта. С этой точки зрения все произведения Солженицына прочно укоренены в реалистической традиции: писатель немало потрудился над тем, чтобы представить нам сидящего в послевоенном советском лагере Шухова как фигуру типичную, а в случае с «Матрёниным двором» нам сообщается в пояснении к рассказу, что жизнь и смерть героини «воспроизведены как были»^{*)} 33.

Бедственное положение крестьянства как общественного класса тематически представлено в обоих текстах, хотя в «Матрёнином дворе» — только косвенно. Зато эта тема прямо описывается в «Одном дне...», где кроме душераздирающего рассказа Тюрина о террористических методах, которыми проводилась коллективизация (с. 64), нам передаются также печальные мысли Шухова о катастрофическом положении колхоза в его деревне (с. 36) и его воспоминания о сельскохозяйственном изобилии в доколхозные времена (с. 40).

В конечном счёте Солженицын пытается доказать, что, несмотря на все катаклизмы советской истории, люди, подобные Шухову, Тюрину и Матрёне, относятся к реально существующему типу национального русского характера, типу, который так и не удалось выкорчевать. И каким бы шатким ни казалось под пером Солженицына выживание подобных героев, сам факт, что Солженицын в описанной им жизни обнаруживает та-

^{*)} Публикуя фотографию Матрёны, стоящей перед своим домом, Солженицын тем самым указывает, что его сообщение следует воспринимать буквально. См.: *Бодался телёнок с дубом*. Вклейка между с. 162 и 163. [С. 5].

кие качества, как честность, трезвомыслие, крепкую устойчивость и даже христианскую кротость, равнозначен утверждению его веры в несломленный дух русского крестьянства. Именно это чувство автор предоставляет сформулировать Шухову, когда тому в конце долгого дня удается получить крупицу настоящего удовольствия от жалкой миски каши, заменяющей ему ужин: «...переживём! Переживём всё, даст Бог кончиться!» (с. 98). Есть все основания полагать, что в этих словах Шухова звучит голос надежды, разделяемый также автором, который, хотя и по другому поводу, говорил о себе, что он тоже «сам в душе мужик»³⁴.

II

Ещё одна тема, послужившая предметом живого обсуждения в критике, — это отношение Шухова к труду. Шухов — бывший плотник, он очевидно любит своё ремесло и так умело справляется с различного рода практическими заданиями, что его считают в сто четвёртой бригаде одним из двух самых искусных её мастеров. В то же время его инстинктивно положительное отношение к работе деформировано ненормальными условиями лагерного мира. Он с отвращением относится к тому, что новый лагерный доктор любит выгонять больных заключённых на работу, цинично считая её лекарством от всех болезней (с. 25), и убеждён в том, что, работая на начальство (как в том случае, когда его заставили мыть полы в надзирательской), можно исполнять свое задание кое-как (с. 21).

Неудивительно, что важнейшие стороны отношения Шухова к работе выявляются в его чувствах и делах, а не в чётко осознанных общих правилах. Первое, что мы замечаем, — погружённость в работу позволяет Шухову на время отвлечься от окружающей обстановки. Так, например, когда он прилаживает трубу к печи на стройке, «...как вымело все мысли из головы. Ни о чём Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал — как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымил» (с. 47).

Для Шухова главное — «время за работой идёт» (с. 50), хотя, как горько замечает он, срок от этого не убавляется. И ещё за работой он забывает о боли и недомогании, которые беспокоили его утром (с. 84).

Но центральный эпизод, раскрывающий философию труда, — это, несомненно, пространное описание того, как Шухов с солагерниками строит стену (с. 65–76). Эту сцену выделил в рассказе и похвалил сам Хрущёв, и её же некоторые из первых читателей осудили как типичный образец социалистического реализма³⁵. И в первом, и в остальных случаях очевидную преданность Шухова хорошей работе и его удовлетворение от

неё приравнивали к так называемому трудовому энтузиазму — неременному компоненту бесконечной серии советских романов, прославляющих «социалистическое строительство».

Для характеристики этой серии достаточно будет всего одного примера. Глеб Чумалов, герой весьма известного романа «Цемент» (1925), показан среди многих других рабочих во время их общей работы по восстановлению разрушенного завода. «Чувствовал Глеб не каждого отдельного человека, а всю людскую толпу и за собой и впереди себя. Обливаясь потом, он выворачивал киркою цементный сланец и шпат. Муравейные толпы взмахивали тысячами кирок и накрывали всю гору — от труб и корпусов завода, от каменных отвалов до обелисков электропередачи»³⁶. Как и повсюду в «Цементе», здесь подчёркнута экстатическая утрата Глебом Чумаловым индивидуальности по мере того, как он, вдохновлённый общим видением коммунизма, сливается с пролетарскими массами. В полурегиозном мире этого архетипического советского производственного романа Глеб должен отбросить свои личные чувства и амбиции, чтобы приобрести более высокое знание, мистическим средоточием которого является Партия.

Ничего даже отдалённо схожего с этим в «Одном дне...» не происходит. Нет никакой необходимости упоминать, что ни Шухов, ни любой другой работник его бригады не трудятся ради великой победы коммунизма. Они заняты принудительным трудом, и их дневной рацион *как группы* прямо зависит от выполнения установленной для них нормы задания (с. 46–48), поскольку подкуп начальства, к которому они часто прибегают, чтобы немного её убавить, тоже имеет свои пределы. И всё же очевидно, что в процессе возведения стены несколько заключённых из сто четвертой бригады трудятся с усердием, которое необходимостью выполнения установленной для них нормы объяснить нельзя. Мотивация этих работников по своему происхождению глубоко внутренняя: в лагерной атмосфере всеобъемлющего принуждения работа остаётся для заключённых единственным доступным и самым значимым средством самовыражения. Мастерство становится для них источником профессиональной гордости и самоуважения, и мысли Шухова, когда он осматривает результаты своей работы, прежде чем броситься вдогонку за бригадой, становятся тому прямым подтверждением. Самое важное здесь — контекст. Оставшись на стройке на несколько минут позже положенного срока, чтобы закончить укладку последнего ряда шлакоблоков, Шухов уже рискует быть за это наказанным. Однако внутренняя потребность заставляет его сделать ещё один шаг: «...хоть там его сейчас конвой псами травы, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас! Ровно! Ещё рука не старится» (с. 76).

Трудно представить себе более очевидное доказательство той важности, которую работа приобретает для Шухова: она укрепляет его веру в себя как в знающего и умелого человека.

В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын признаёт парадоксальность той ситуации, когда хорошая работа, выполненная в обстановке закрытой и принудительной системы, неизбежно служит усилению этой системы, несмотря на все психологическое благо, которое она временно приносит работнику. Но автор энергично опровергает обвинения тех, кто в эпизоде возведения стены усматривает прославление рабского труда. По его мнению, вопрос в конечном счёте сводится к выживанию: «Как же Ивану Денисовичу выжить десять лет, денно и нощно только проклиная свой труд? Ведь это он на первом же кронштейне удавиться должен!»³⁷

Затем автор переходит к описанию того, как он сам во время отбывания срока в лагере испытывал радость от хорошо выполненной работы: «...такова природа человека, что иногда даже горькая, проклятая работа делается им с каким-то непонятным лихим азартом. Поработав два года и сам руками, я на себе испытал это странное свойство: вдруг увлечься работой самой по себе, независимо от того, что она рабская и ничего тебе не обещает. Эти странные минуты испытал я и на каменной кладке (иначе б не написал), и в литейном деле, и в плотницкой, и даже в задоре разбивания старого чугуна кувалдой. Так Ивану-то Денисовичу можно разрешить не всегда тяготиться своим неизбежным трудом, не всегда его ненавидеть?»³⁸

Трезвый и здравомыслящий тон этого утверждения служит лишним примером того, как взгляд писателя на окружающий мир сливается с крестьянской точкой зрения его героя.

Перевод с английского Б.А. Ерхова

¹ См.: *Солженицын А.И.* Собр. соч.: [В 20 т.] Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1978–1991. Т. 3: Рассказы. Вермонт; Париж, 1978. С. 327.

² Радиоинтервью к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича» для Би-Би-Си (8 июня 1982) // *Публицистика*. Т. 3. С. 21. Такого же рода заявление, сделанное по другому поводу, см.: Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве // Там же. Т. 2. С. 424–425.

³ См.: *Солженицын А.И.* Собр. соч.: [В 20 т.] Вермонт; Париж, 1980. Т. 7: Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956: Опыт художественного исследования. [Ч.] 5–7. С. 573.

⁴ См.: *Reshetovskaya N.A.* Sanya: My life with Aleksandr Solzhenitsyn / Transl. E. Ivanoff. N.Y.: Bobbs-Merrill, 1975. P. 211; рос. изд.: *Решетовская Н.* В споре со временем. [М.:] АПН, 1975. С. 154.

- ⁵ Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве. С. 424.
- ⁶ См.: Радиоинтервью к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича»... С. 21.
- ⁷ *Солженицын А.И.* Собр. соч.: [В 20 т.] Т. 3. С. 327.
- ⁸ См.: Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве. С. 427.
- ⁹ Там же. С. 426–427.
- ¹⁰ *Солженицын А.И.* Собр. соч.: [В 20 т.] Т. 3. С. 327.
- ¹¹ О Буйновском см.: Current digest of the Soviet press. Columbus, OH, 1964. Vol. 16. № 3. 12 Febr. P. 12–13; *Solzhenitsyn A.I.* The Gulag Archipelago: 1918–1956: An experiment in literary investigation. [Vol. 1–3] / Transl. by Th.P. Whitney (Parts I–IV) and H. Willetts (Parts V–VII). N.Y.: Harper & Row, 1974–1978. [Vol. 3.] P. 54, 76. О Тюрине см.: Ibid. [Vol. 3.] P. 365. Прототип Алёшки упоминается в том же номере «Current digest of the Soviet press». Связь образа Цезаря Марковича с фигурой Льва Гроссмана отмечена В. Лакшиным в кн.: *Лакшин В.* «Новый мир» во времена Хрущёва: Дневник и попутное (1953–1964). М.: Книжная палата, 1991. С. 191. О Сеньке см.: *Панин Д.М.* Лубянка – Экибастуз: Лагерные записки. М.: Обновление – РИК «Милосердие», 1990. С. 507–508.
[См. также: Один день Ивана Денисовича // *Рассказы и Крохотки.* С. 587–588. — *Ред.*]
- ¹² Более подробный разбор см.: *Klimoff A.* In defense of the word: Lydia Chukovskaya and the Russian tradition: Introduction // *Chukovskaya L.* The deserted house / Transl. A.V. Werth. Belmont, Mass.: Nordland, 1978. P. I–XLIV.
- ¹³ Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве. С. 426.
- ¹⁴ Надежда Мандельштам утверждала, что ни одно другое произведение, включая работы Шаламова, не доносило до неё реальность лагеря настолько осязаемо, как «Один день...». См.: *Мандельштам Н.Я.* Вторая книга: Воспоминания / Подгот. текста, предисл., примеч. М.К. Поливанова. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 495. [См. примеч. на с. 538 наст. изд. — *Ред.*]
- ¹⁵ См.: Один день Ивана Денисовича // *Рассказы и Крохотки.* С. 35. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках страниц.
- ¹⁶ См.: *Архипелаг ГУЛАГ.* Т. 3, ч. 5, гл. 1. С. 36.
- ¹⁷ Там же. Т. 2, ч. 3, гл. 16. С. 394.
- ¹⁸ См.: *Fanger D.* Solzhenitsyn: Art and foreign matter // *Aleksandr Solzhenitsyn:* Critical essays and documentary materials / Ed. J.B. Dunlop, R. Haugh, and A. Klimoff. 2nd ed. N.Y.: Collier books; L.: Collier Macmillan, 1975. P. 162.
- ¹⁹ См.: *Орлова Р.* Воспоминания о непрошедшем времени. М.: Слово, 1993. С. 221; *Альшиллер М., Дрыжакова Е.* Путь отречения: Русская литература 1953–1968. Tenafly, N.Y.: Ermitazh, 1985. С. 158.
- ²⁰ Россия после выборов: Беседа с Г. Явлинским // *Рус. мысль.* Париж, 1996. 1–7 авг. № 137. (Прилож.).
- ²¹ *Cohn D.* Transparent minds: Narrative modes for presenting consciousness in fiction. Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 1978. P. 100.
- ²² Владимир Дж. Рус признаёт, что эти два голоса «сливаются». См.: *Rus V.J.* «One day in the life of Ivan Denisovich»: A point of view analysis // *Canadian Slavonic papers.* Edmonton, Alberta, 1971. Vol. 13. № 2–3. P. 165–178.

²³ Виктор Эрлих, по-видимому, первым из западных критиков сформулировал эту точку зрения. См.: *Erlich V. Post-Stalin trends in Russian literature // Slavic review. Seattle, WA, 1964. (Sept.). Vol. 23. № 3. P. 410.* Это утверждение было подхвачено многими западными критиками.

²⁴ Суждение, высказанное Максом Хэйвордом в ответ на замечания Виктора Эрлиха. См.: *Hayward M. Solzhenitsyn's place in contemporary Soviet literature // Ibid. P. 435–436.* Соображения Солженицына по этому поводу приведены в книге Скэммела (см.: *Scammell M. Solzhenitsyn: A biography. N.Y.: Norton, 1981. P. 425–426.*)

²⁵ См. об этом пронизательные замечания Джозефа Франка в его статье «От Гоголя до ГУЛАГа» («From Gogol to the Gulag») в кн.: *Frank J. Through the Russian prism: Essays on literature and culture. Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 1990. P. 105.*

²⁶ Эта точка зрения опровергается Леоной Токер. См.: *Toker L. On some aspects of the narrative method in «One day in the life of Ivan Denisovich» // Russian philology & history: In honor of professor Victor Levin / Hebrew univ. of Jerusalem; Department of Russian and Slavic studies; Center for the study of Slavic languages and literature / Ed. W. Moskovich. Jerusalem: Praedicta, 1992. P. 277.* См. также перевод статьи Л. Токер «Некоторые особенности повествовательного метода в «Одном дне Ивана Денисовича»», с. 542–543 наст. изд.

²⁷ См.: *Scammell M. Solzhenitsyn... P. 416; Вече. М., 1972. № 5. С. 87–88.* См. также: *Решетовская Н.А. Солженицын и читающая Россия. М., 1990. С. 54.*

²⁸ *Бодался телёнок с дубом. С. 25.* Этот эпизод подтверждает Виктор Некрасов, слышавший о нём непосредственно от Твардовского. См.: *Некрасов В. Исаичу... // Континент. 1978. № 18 (4). [Спец. прилож.]*

²⁹ *Бодался телёнок с дубом. С. 25.*

³⁰ Там же. С. 477. О распространении рассказа в рукописи см.: Там же. С. 36.

³¹ Типичные примеры изображения русского крестьянина как носителя моральных ценностей – это толстовские образы Платона Каратаева в «Войне и мире» и слуги Герасима в «Смерти Ивана Ильича». Отличный обзор этой традиции дан в работе Кати А. Фрайерсон (см.: *Frierson C.A. Peasant icons: Representations of rural people in late nineteenth-century Russia. N.Y.: Oxford univ. press, 1993*). Подозрительное сходство Шухова с Каратаевым стало основой для осуждения «Одного дня...» советской критикой. Это же сходство ставится под сомнение в работах Кристофера Муди и Марии Шнеерсон (см.: *Moody C. Solzhenitsyn. N.Y.: Barnes & Noble, 1973. P. 40; Шнеерсон М. Александр Солженицын: Очерки творчества. Frankfurt a/M: Посев, 1984. С. 113–117*).

³² Глава, имеющая ироническое название «Хождение в народ».

³³ *Солженицын А.И. Собр. соч.: [В 20 т.] Т. 3. С. 327.*

³⁴ *Архипелаг ГУЛАГ. Т. 2, ч. 3, гл. 9. С. 264.* В своём интересном эссе Мария Шнеерсон утверждает, что Солженицын в своих поздних произведениях, включая «Архипелаг ГУЛАГ» и «Бодался телёнок с дубом», время от времени говорит голосом, замечательно похожим на шуховский (см.: *Шнеерсон М. Голос Шухова в произведениях Солженицына // Грани. 1987. № 146. С. 106–133*).

³⁵ Хрущёву особенно понравилось то, что Шухов использовал весь приготовленный для него раствор (см.: *Бодался телёнок с дубом*. С. 41). Среди первых читателей аналогию с социалистическим реализмом провели Лев Копелев и Илья Эренбург (см.: *Лакшин В.Я.* «Новый мир» во времена Хрущёва... С. 56, 88). Виктор Эрлих повторил эту оценку, сравнив рассказ с советским производственным романом (см. его полемику с Максом Хэйвордом: *Erlich V.* Post-Stalin trends in Russian literature. P. 440).

³⁶ *Гладков Ф.В.* Цемент // Собр. соч.: В 5 т. М.: Худож. лит., 1983. Т. 1. С. 382.

³⁷ *Архипелаг ГУЛАГ*. Т. 2, ч. 3, гл. 9. С. 242.

³⁸ Там же. С. 243–244. Солженицын говорил нечто подобное в интервью французскому телевидению (см.: Выступление по французскому телевидению (9 марта 1976) // *Публицистика*. Т. 2. С. 390–391). В то же время важно отметить горечь, пронизывающую стихотворение Солженицына «Каменщик», в котором он отражает извращённость своей роли строителя лагерной тюрьмы (см.: *Архипелаг ГУЛАГ*. Т. 3, ч. 5, гл. 3. С. 75–76). Обсуждение этой же темы, включающее полезную ссылку на «Мост через реку Квай», см.: *Kern G.* Ivan the worker // *Modern fiction studies*. 1977. (Spring.) Vol. 23. № 1. P. 27–30. Отметим также, что даже Варлам Шаламов, непреклонный противник оправдания лагерного труда, соглашается с Солженицыным: «Возможно, что такого рода увлечение работой и спасает людей» (см. его письмо Солженицыну в кн.: Шаламовский сборник. Вологда: Изд-во Института повышения квалификации и переподготовки педагогич. кадров, 1994. Вып. 1. С. 68).

«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

Алексей Климов

ИВАН ДЕНИСОВИЧИ КРЕСТЬЯНСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Перевод (с сокращениями, касающимися замечаний автора об английских переводах «Одного дня Ивана Денисовича») выполнен по изданию: *Klimoff A. The sober eye: Ivan Denisovich and the peasant perspective // One day in the life of Ivan Denisovich: A critical companion / Ed. A. Klimoff. Evanston, IL: Northwestern univ. press, 1997. P. 3–22, 25–30.*

^{CLXXXIII} ... *причин сомневаться в достоверности этой подробности, по-видимому, нет.* — См. также свидетельство об этом замысле в дневнике А.И. Солженицына, запись от 31 октября 1976 г.: «О, своевременность каждой вещи в возрасте писателя и в его жизненных обстоятельствах! Не написал любовных рассказов в юности — уже и не напишешь. <...> “Раковый” — уже был упускаем (как и не осуществлённый “Один день учителя”, многие рассказы)...» (Три отрывка из «Дневника Р-17» // Между двумя юбилеями: 1998–2003: Писатели, критики, литературоведы о творчестве А.И. Солженицына: Альманах / Сост. Н.А. Струве, В.А. Москвин. М.: Русский путь, 2005. С. 28).

^{CLXXXIV} ... *начало и окончание работы приходится на 18 мая и 11 октября 1959 года, летние месяцы между этими числами были отведены другим занятиям.* — См. выше, примеч. CLXIX.